

БОГАТОВА О. А., РЯБОВА Е. Ю.

## СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ В СЕМЬЯХ ЖЕРТВ

### ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ<sup>1</sup>

**Аннотация.** В статье, основанной на данных качественного социологического исследования, выявляются основные социальные характеристики семейной памяти о раскулачивании и политических репрессиях первой половины XX века в отношении социальных групп на территории Мордовии и основные факторы, влияющие на ее формирование и трансляцию. Оценивается конфликтогенный потенциал коллективной памяти о репрессиях.

**Ключевые слова:** социальная память, коллективная травма, политические репрессии, раскулачивание, проработка прошлого.

BOGATOVA O. A., RYABOVA E. YU.

## SOCIAL MEMORY IN THE FAMILIES OF POLITICAL

### REPRISAL VICTIMS: A REGIONAL STUDY

**Abstract.** The paper, based on the data of a qualitative sociological research, reveals the basic social characteristics of family memory of the peasant's expropriation and political reprisals of the first half of the XX century among social groups on the territory of Mordovia. The major factors influencing the formation and translation of the family memory are studied. The assessment of the conflict potential of collective memory of reprisals is provided.

**Keywords:** social memory, collective trauma, political reprisals, expropriation, working through the past.

Предметом данного исследования являются социальные характеристики семейной памяти о раскулачивании и политических репрессиях первой половины XX в. на территории Мордовии (Мордовской АССР). В процессе качественного социологического исследования в 2019-2020 гг. было опрошено 18 человек. В качестве метода сбора социологической информации использовался метод глубинного интервью, анализа социологических данных – методы конденсации и интерпретации смысла. В исследовании использовалась теоретическая выборка. В соответствии с целями и задачами исследования было опрошено 5 потомков осужденных или арестованных по политическим статьям (крестьян-единоличников, духовенства, интеллигенции), 10 потомков раскулаченных крестьян, 3 потомков православных священнослужителей, отнесенных по Конституции РСФСР 1920 г. к

---

<sup>1</sup> Статья подготовлена при поддержке гранта № 19-511-60005 ЮАР\_Т Российского фонда фундаментальных исследований, научно-исследовательский проект «Наследие расчеловечивания: транснациональная перспектива».

категории лиц, лишенных избирательных прав («лишенцев»). Выборочная совокупность включала 4 мужчин и 14 женщин, в том числе уроженцев различных административных районов Мордовии и представителей наиболее многочисленных этнических групп населения республики: русские (Ардатовский, Ельниковский, Ромодановский районы), мордва-мокша (Зубово-Полянский район), мордва-эрзя (Атяшевский и Ичалковский районы). Двое из опрошенных относились непосредственно к числу детей репрессированных, большинство респондентов представляли третье-четвертое поколение потомков лиц, подвергшихся репрессиям.

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей коллективной памяти о советских репрессиях в отношении социальных групп в периферийном аграрном регионе – Мордовской АССР (Республика Мордовия. К числу задач исследования относились:

1) идентификация субъектов формирования и трансляции коллективной памяти о репрессиях (семья, родственные или более широкие социальные группы);

2) выявление основных социальных факторов, влияющих на формирование и трансляцию социальной памяти о репрессиях в отношении социальных групп на институциональном уровне (занятость, образование, пенитенциарные и правоохранительные учреждения, историческая политика, государственная политика в отношении лиц, подвергшихся репрессиям, включая раскулачивание, и членов их семей), групповом (соседи, коллеги по работе, дальние родственники) и микроуровне (семья), в советский и постсоветский периоды;

3) оценка степени воздействия на коллективную память институциональных «мест памяти», включая архивы, музеи, публикации в средствах массовой информации и неперIODических изданиях, интерактивные базы данных, общественные организации;

4) конкретизация содержания социальных травм, связанных с репрессиями в отношении социальных групп, на индивидуальном и семейном уровне и их влияния на формирование индивидуальной, семейной и более широкой групповой идентичности;

5) оценка степени сходства и ценностной однородности семейных исторических нарративов о репрессиях и их социальных последствиях;

6) оценка конфликтогенного потенциала коллективной памяти о репрессиях в аспекте обвинения конкретных социальных групп, отдельных лиц и их потомков.

В качестве теоретико-методологической основы использовались социальные теории коллективной памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, А. Ассман, М. Хирш), исторической политики (А. Ассман, О. Ю. Малинова, А. И. Миллер), травмы социальных изменений (П. Штомпка, С. А. Ушакин).

Современные социальные науки рассматривают коллективную память в качестве определенного режима формирования, сохранения и воспроизводства индивидуальных воспоминаний о социально значимых событиях, «собирающего понятия для совокупности воспоминаний, ... вместилища и рамок для определенных меморативных актов» [4, с. 216]. Междисциплинарные исследования социальной памяти, в отличие от традиционного профессионального исторического подхода, рассматривающего личные и коллективные нарративы (повествования, предлагающие связную картину цепи исторических событий [5, с. 129]) о прошлом в качестве одного из источников научного знания, видит в ней прежде всего предмет социального конструирования и манипуляций, конфликта интерпретаций прошлого.

Социологический подход к проблематике социальной памяти впервые был сформулирован в книге «Социальные рамки памяти» (1925) М. Хальбвакса, который, исходя из концепции «коллективных представлений» Э. Дюркгейма, ввел в академический дискурс понятие-метафору коллективной памяти [9]. П. Нора констатирует зависимость коллективной памяти от наличия «мест памяти» – институциональных источников знания о прошлом, включая «музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, монументы, храмы, ассоциации» [6, с. 26]. М. Хирш анализирует феномен «постпамяти», которая заключается в личной идентификации с чужой памятью и передаче воспоминаний из поколения в поколение посредством межличностной коммуникации, в результате которой «связь с прошлым в постпамяти образуется не за счет процесса «припоминания», но за счет вовлечения воображения и проецирования» [10], относя к феноменам постпамяти относится, например, семейную память, включая рассказы детям родителей о воспоминаниях, которыми с ними делилось старшее поколение, а также «аффилируемую» память, передаваемую посредством музеификации, литературы и т.д.

По мнению А. Ассман, «память и история... не находятся в оппозиции друг к другу. Это значит, что воспоминания осуществляются в поле напряжения между субъективным опытом, научно объективированной историей и культурной коммеморацией» [4, с. 216]. А. Ассман различает коммуникативную память, возникающую и функционирующую в определенном социальном окружении благодаря регулярному общению и совместному опыту [4, с. 217], коллективную память, носящую политический характер, базирующуюся на определенном политическом сообществе и характеризующуюся распределением символических ролей (победители и побежденные, жертвы и преступники) [4, с. 222-223], и культурную память, трансформирующую индивидуальные воспоминания в культурные институты и артефакты – памятники, архитектурные сооружения, коммеморативные ритуалы и празднества и т.п. [4, с. 231].

В исследованиях социальной памяти о катастрофических событиях XX в. одно из центральных мест занимает понятие социальной травмы и синонимичные ему концепты коллективной и культурной травмы. В современных trauma studies проблематизируются социальная природа травмы и ее связь с конкретными историческими событиями, социальная субъектность и структура травмы как процесса, включающего такие элементы, как «природа боли, природа жертвы, связь жертвы травмы с более широкой аудиторией, распределение ответственности» за причины травмы [2, с. 21-23]. В социологии преобладает подход к травме как феномену, социально сконструированному посредством определения «носителями травмы» социальной ситуации в качестве травматической и легитимации этого определения широкими слоями общества.

Наиболее близкое к обыденному определение травмы, по характеристике С. А. Ушакина, заключается в ее восприятии в качестве «единовременного события, которое резко изменило жизнь, и как процесса, который продолжает оказывать воздействие на отношение людей к своему прошлому и на их восприятие своего настоящего и будущего» [8, с. 7]. Дж. Александер отвергает это определение, квалифицируя его как «натуралистическую ошибку», разновидностью которой является психоаналитическое определение травмы как когнитивного искажения и постстрессового травматического расстройства, которое на коллективном уровне можно преодолеть, устранив «вытеснение» травмы из коллективной памяти «посредством публичных действий, направленных на сохранение памяти о событии, репрезентации в культуре и общественной политической борьбы» [2, с. 14-15].

Исходя из конструктивистского подхода к социальным проблемам, рассматривающего их определение и признание в качестве таковых как результат действий социальных агентов, которые «отстаивают свое понимание социальных условий и действуют в соответствии с ним» [7, с. 160], он использует понятие культурной травмы, описывая ее как разделяемую коллективными акторами и признанную «более широкой аудиторией» репрезентацию тех или иных событий в качестве угрозы коллективной идентичности того или иного сообщества. Таким образом, Александер акцентирует внимание на отсутствие автоматической причинно-следственной связи травмирующего события и культурной травмы, представляя последнюю в качестве «социологического процесса, который определяет болезненную рану, нанесенную сообществу, устанавливает жертву, возлагает ответственность и распределяет идеальные и материальные последствия» [2, с. 32]. П. Штомпка определяет культурную травму как «стресс, вызванный социальными изменениями, которые касаются сферы культуры, а в итоге также коллективной и индивидуальной идентичности» [11, с. 491].

Р. Айерман придерживается более объективистской точки зрения, подчеркивая причинную обусловленность определения события как травмы. В связи с этим он различает такие явления, как индивидуальная, коллективная и культурная травма [1, с. 123-124], определяя последнюю как публичный дискурс, а также «процессы создания смыслов и атрибуций, длящиеся борьбу, в которой разные индивиды и группы стремятся определить ситуацию, управлять ею и контролировать ее» [1, с. 124-125]. Если культурная травма представляет собой социальный конструкт, то индивидуальная и коллективная травма, обусловленные социальными причинами – это прямой результат «шокирующих событий», не зависящие от их признания в обществе и распределения ролей жертв и виновных: «Как и индивидуальная травма, кризис на уровне общества — это одновременно и потрясение привычных шаблонов и идентичностей, и новые возможности, поскольку для натренированного взгляда он раскрывает то, что иначе остается глубоко запрятано» [1, с. 123].

Таким образом, анализ ситуации в современных исследованиях памяти позволяет выявить такие проблемные пункты в соотнесении с целью исследования массовых репрессий первой половины XX в. в регионе, как сконструированный и неполный характер репрезентаций исторического прошлого, содержание которых зависит от степени легитимации памятования о тех или иных событиях и «мемориального менеджмента» [3, с. 305], обеспеченного ресурсами на макросоциальном уровне, а также прямая и обратная связь меморизации коллективных травм с конструированием «сообществ памяти». Травма может способствовать формированию или трансформации групповой идентичности, но, с другой стороны, она нуждается в сообществе либо в создании институциональных «мест памяти» для определения социальной ситуации в качестве травматической и сохранения памяти о ней.

Основным субъектом социальной памяти о репрессиях в отношении отдельных социальных групп в советский период, выделенных по принципу происхождения или занятий, является семья; значительно в качестве таких субъектов выступают вернакулярные поселенческие общности, все члены которых подвергались преследованиям вследствие сохранения индивидуального способа ведения крестьянского хозяйства («Дикий поселок» в Zubovo-Полянском районе, татарские села Ельниковского района). В постсоветский период на фоне изменения отношения в обществе к раскулаченным и деятельности государственных (правоохранительные органы) и негосударственных («Мемориал» и правозащитные организации) институтов в отдельных случаях имеет место формирование более широких социальных агентов меморизации, в условиях массовой миграции представляющих собой скорее номинальные, чем реальные социальные общности («потомки

крестьян Ельниковского района»), однако территориальные сообщества в качестве субъектов памяти о репрессиях представляют собой скорее исключение и имеют тенденцию к размыванию.

Формирование семейного нарратива о репрессиях и преследованиях (в форме лишения гражданских прав, дискриминации при приеме на учебу, работу, в советские общественные организации) и его сохранность в процессе межпоколенной трансляции зависят от ряда институциональных, групповых и межличностных факторов. Рассказывая о событиях, связанных с репрессиях в отношении их семей, и способах выживания в условиях преследований со стороны советской власти, респонденты утверждают, что их предки были лояльными по отношению к ней, не принимали участия в антисоветской агитации и не относились к числу «эксплуататорских» групп населения (не использовали наемный труд) и подвергались преследованиям незаконно даже с позиций советского законодательства, вследствие своего образа жизни (малый бизнес, кустарные промыслы, священство, статус церковного старосты) и/или религиозных убеждений.

К последствиям репрессий они относят моральный и материальный ущерб, выразившийся в гибели их предков в местах лишения свободы (вследствие смертной казни или условий содержания), потере источников средств к существованию в виде крестьянского хозяйства или бизнеса, жилья и другой недвижимости, личного имущества вплоть до одежды и обуви, рабочего места, авторских рукописей, ссылке или вынужденной смене места жительства. Респондентам известны случаи удачных или неудачных попыток возвращения утраченного имущества или получения компенсации репрессированными семьями, однако семьи большинства из них не предпринимали попыток реституции либо не могли добиться успеха из-за отсутствия необходимых документов или невозможности собрать свидетельские показания.

К числу упомянутых респондентами способов выживания репрессированных и членов их семей относятся практики, затрудняющие их социальную идентификацию государством, включая побег из ссылки, смену занятий, переезд в другую союзную республику, другой административный регион РСФСР, смену места жительства в пределах одной области или обширного сельского района с намерением переждать очередную волну репрессий, сокрытие своего происхождения и прошлого, развод и повторный брак, фальсификацию персональных данных в личных документах в разных поколениях.

Такие практики способствовали интеграции представителей преследуемых групп населения на индивидуальном уровне и одновременно препятствовали формированию целостного семейного нарратива о репрессиях: данные исследования показывают, что потерявшие своих членов или сменившие место жительства семьи нередко скрывали свое

происхождение и прошлое, поэтому некоторые из респондентов в детстве не знали о своем родстве с репрессированными или получали только фрагментарные знания, не пытаясь их восполнить. Наибольшей полнотой отличаются нарративы семей, на протяжении двух поколений сохранявших особый образ жизни и особое мировоззрение вследствие социальной или территориальной самоизоляции (духовенство, крестьяне-единоличники), поддержание связей со сплоченной группой родственников.

В случаях, когда преследуемые семьи не меняли постоянного места жительства, влияние локальной социальной среды на уровне поселения или сельского района (соседи, дальние родственники, представители местной власти, школьной администрации) на формирование семейной памяти оценивается респондентами как существенное и более травматичное по сравнению с более широкими социальными факторами. Это влияние выразилось в зависимости от добровольной соседской помощи в условиях нищеты членов семей репрессированных («жили в бане»; «куски собирали по деревне»), словесной стигматизации со стороны соседей или членов семьи («кулацкое отродье»; «поповна»; «попенок»), отказе общаться со стороны соседских детей, отказе в приеме в местную пионерскую или комсомольскую организацию, предоставлении недостоверной информации относительно судьбы репрессированных родственников, проблемах с поиском брачных партнеров, наличии в пределах обозримости утраченного жилья, рассматриваемого с точки зрения нематериальной ценности (родной дом).

Стигматизация в семье или в кругу повседневного общения, в свою очередь, мотивировала детей или внуков репрессированных добиваться реабилитации своих родственников и искать доказательства их невиновности перед советской властью даже при отсутствии других негативных последствий. В то же время дискриминационные меры со стороны государства респонденты оценивают как минимальные, утверждая, что лишению гражданских прав с вытекающими отсюда последствиями (повышенные налоги, дискриминация в отношении размера заработной платы и, как следствие, пенсии) подвергались только члены семей «лишенцев», проживавшие совместно с главой семьи.

Респонденты утверждают, что, несмотря на существование в советской системе ряда экстерриториальных механизмов контроля и надзора, включая пункты социальном происхождении и судимости родственников в личных делах, во втором поколении члены их семей не сталкивались с институциональной дискриминацией в получении среднего общего и среднего профессионального образования или трудоустройстве (при отсутствии воспоминаний о каких-либо попытках получить высшее образование), в третьем поколении – с препятствиями во вступлении в комсомол, получении высшего образования и трудоустройстве на основании своего происхождения.

Исключение составляют данные, предоставленные респондентом из семьи потомственного священника, который не смог поступить по конкурсу в Мордовский государственный университет в 1980-е гг. Однако респондент полагал, что причиной послужило не само по себе происхождение из семьи священника, а сочетание социального происхождения с его нежеланием вступить в члены ВЛКСМ и, таким образом, отречься от своих религиозных убеждений. Он подчеркивал, что функционеры разных уровней, включая ректора университета, не только не препятствовали его приему в комсомол, но и убеждали его стать комсомольцем. Эти данные можно объяснить, исходя из стратегических целей советской внутренней политики – радикальной трансформации общества и создания «нового человека», не способствовавших геттоизации и маргинализации потомков репрессированных на массовом уровне. Поэтому ряд опрошенных и их родственников из числа внуков или (реже) детей репрессированных интегрировались в советскую социальную структуру, выбирая комсомольскую и партийную карьеру или службу в силовых структурах, искренне руководствуясь при этом стремлением не только выжить, но и стать настоящим «советским человеком», усвоив доминирующие ценности.

К числу наиболее травматичных институциональных факторов формирования коллективной памяти респонденты относят советскую историческую пропаганду в массовой культуре (*«фильмы о кулаках»*), образовании, а также наличие многочисленных мест исполнения наказаний на территории Мордовии. В опросе неоднократно упоминалась Чуфаровская колония на территории бывшего женского монастыря (в настоящее время – Свято-Троицкий мужской монастырь) в Ромодановском районе, служившая местом заключения жителей республики, в отличие от учреждений ГУЛАГа всесоюзного значения в Зубово-Полянском районе. Чуфаровская колония, ставшая местом массовых расстрелов и гибели заключенных из-за болезней и плохих условий содержания, закрытая после Великой Отечественной войны, в настоящее время из-за недостатка информации остается для респондентов объектом слухов об ужасной судьбе о судьбе их репрессированных родственников.

Опрошенные пережили несколько поворотных пункта в развитии исторической в СССР и современной России: период реабилитации жертв массовых репрессий 1937-39 гг. после XX съезда КПСС (*«когда развенчали культ личности»*), период систематического умолчания о политических репрессиях на государственном уровне в сочетании с официальным одобрением раскулачивания в 1960-1970-е гг., новую переоценку советских репрессий по социальным признакам в период перестройки, завершившуюся принятием федерального закона «О реабилитации жертв политических репрессий», включившего раскулаченных в категорию жертв политических репрессий, и постсоветский период,



характеризующийся активной деятельностью как государственных, так и негосударственных субъектов «политики памяти». Наиболее молодые из респондентов (45-50 лет) узнали о прошлом своей семьи уже во второй половине 1980-х – 1990-е гг. и испытывали амбивалентные эмоции вследствие столкновения сложившегося под влиянием системы образования негативных стереотипов по отношению к раскулаченным («*Что, я тоже из этих?*») с более позитивным образом, формировавшимся в период перестройки.

Коллективная память о репрессиях по социальным признакам характеризуется сильной зависимостью от институциональных «мест памяти», служащих источником как данных о судьбе отдельных людей, погибших или пропавших без вести, так и интерпретаций исторических травм в широком социальном контексте. Начиная с 1950-х гг., респонденты и их родственники с разным успехом обращались в правоохранительные органы с просьбами о реабилитации своих родственников, а также в ведомственные и государственные архивы с запросами об их судьбе («память-костыль», по выражению П. Нора). При наличии административных или психологических барьеров в ознакомлении с историческими документами респонденты пытаются извлечь недостающую информацию из государственной и негосударственной прессы, официальных публикаций сведений о репрессированных и реабилитированных Министерства юстиции Республики Мордовия (районные газеты, сборники документов «Память»), виртуальных информационных баз (базы данных общества «Мемориал», «Память народа» и «Подвиг народа» и т.п.). Источниками интерпретаций исторических травм для респондентов, помимо официальных документов, служат историческая публицистика, художественная литература, кинематограф, районные музеи.

Обобщая содержание травматических представлений и установок на основании собранных данных, можно выделить травматические переживания («чувство потери» [1, с. 123]), связанные непосредственно с трагическими событиями в жизни семьи (скорбь, ощущение жестокости и несправедливости по отношению к их родственникам), а установки, также с недостатком информации об их судьбе: стремление выяснить обстоятельства, связанные с репрессиями и гибелью членов семьи, установить причины, по которым именно они подверглись репрессиям, стремление доказать их невиновность и получить доказательства ее официального признания государством («*извинений*»). Негативные последствия недостатка информации о семейной трагедии для социальной самоидентификации 2-3 поколения потомков репрессированных могут заключаться в оценке собственной семейной идентичности как неполной и дефектной из-за утраты родственных связей («*я всю жизнь прожила без дедушки, без бабушки*») и предположений о возможных

фатальных ошибках прародителей как причинах семейной трагедии (*«уж ты в колхоз вступила бы, может быть, и ты-то жива была, и мы бы так не мучились»*).

Рассматривая возможности применения к анализу социальной памяти о репрессиях современных тенденций в развитии мемориальной культуры, а именно конкуренции стратегий героизации и виктимизации прошлого [3, с. 82] и тенденции к замене героизма виктимальностью в качестве ценностного критерия, можно констатировать отсутствие у опрошенных установок на формирование коллективной идентичности жертвы. Это можно объяснить как разобщенностью обследуемой социальной совокупности – потомков репрессированных, так и отсутствием ее общей социальной категоризации со стороны государства до принятия закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», а также отсутствием возможных целей коллективной самоидентификации в качестве потомков жертв после того, как признание права на реабилитацию и возмещение ущерба были декларированы в законе. Статус жертвы политических репрессий сам по себе не рассматривается респондентами в качестве ценности или источника символического капитала. Напротив, в собранных нарративах семейной истории можно отметить элементы героизации: респонденты гордятся такими качествами своих предков, как предприимчивость, мастерство, стойкость в трудной жизненной ситуации, верность своим религиозным убеждениям, преданность семье. В этом аспекте нарративы о выживании семьи в период репрессий строятся по тому же принципу, что и воспоминания о Великой Отечественной войне как архетипе героизма. Респонденты, чьи родственники принимали в ней участие, часто обращаются к семейной памяти о войне, стремясь вписать семейную историю в большой исторический нарратив и заявить о заслугах членов своей семьи в военных действиях в качестве тружеников тыла, например, на строительстве укреплений Сурского оборонительного рубежа.

Вследствие отсутствия общей социальной идентичности, разнородности социальных условий и источников формирования коллективной памяти о репрессиях в виде «мест памяти» у опрошенных потомков репрессированных отсутствует и общий коллективный нарратив, основанный на общей интерпретации исторического прошлого. Отвечая на вопросы об отношении к отдельным людям, принимавшим участие в репрессиях против их родственников, респонденты упоминают несколько категорий причастных к этим событиям (представители власти, местные *«активисты»*, принимавшие участие в экспроприации имущества их родственников или доносившие на них, свидетели, которых принуждали к даче показаний, написанных *«одним почерком»*), не рассматривая ни одну из них в качестве сплоченной группы, которая может рассматриваться в качестве субъекта коллективной ответственности.

Опрошенные потомки осужденных, включая тех, кто имел возможность ознакомиться с судебными делами своих родственников, в большей степени склонны обвинять «систему», чем отдельных представителей власти («они – система», «у них был план по валу»), или лиц, привлеченных в качестве свидетелей по делам их предков – как правило, соседей или родственников («свидетелями были мои родственники»). Вопрос о личной ответственности проблематизируется в отношении лиц, у которых, по мнению респондентов, был выбор, а именно руководителей Мордовской АССР в период сталинизма (начальников УНКВД и членов республиканской «тройки», которые, как утверждают респонденты, сами были репрессированы в тот же период и таким образом понесли наказание), сотрудников НКВД, допускаявших внесистемные «зверства», и авторов доносов на их родственников, у которых, насколько известно опрошенным, жизнь также «*сложилась не очень хорошо*».

Размышляя о причинах массовых репрессий и гражданской войны в более широком историческом и социальном контексте, респонденты были склонны рассматривать их в качестве конфликта между братьями, стихийной катастрофы, в которой распределение ролей преследуемых и преследователей было во многом случайным. Такой абстрактный подход аргументируется респондентами, исходя из семейной памяти, свидетельствующей об отсутствии каких-либо лиц или групп, которые приобрели бы стабильные социальные преимущества в результате репрессий в отношении их семей: «*Советская власть всех уравнила*». В то же время материальный и моральный ущерб от коллективизации и репрессий для их семей оценивается как сравнимый с ущербом от распада СССР и последующих реформ 1990-х гг.

В качестве средств, которые помогли бы предотвратить повторение массовых репрессий, респонденты называли создание правового государства, которое действует «*по законам, защищающим только общечеловеческие ценности, а не чью-то кандидатуру какую-то политическую*», распространение знаний об утраченной крестьянской цивилизации и народной культуре, а также дальнейшее изучение и обсуждение проблем, связанных с массовыми репрессиями советского периода при условии формировании такой концепции исторической памяти, которая объединяла бы, а не раскалывала общество.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айерман Р. Социальная теория и травма // Социологическое обозрение. – 2013. – Т. 12. – № 1. – С. 121-138.
2. Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. – 2012. – № 3. – С. 6-39.

3. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Бориса Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.
4. Ассман А. Забвение истории – одержимость историей / пер. с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 552 с.
5. Миллер А. И., Малинова О. Ю., Ефременко Д. В. Политика памяти и историческая наука // Российская история. – 2018. – № 5. – С. 128-140.
6. Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 1999. – С. 17-50.
7. Спектор М., Китсьюз Дж. Конструирование социальных проблем // Контексты современности II: Хрестоматия. 2-е изд., перераб. и доп. / сост. и ред. С. А. Ерофеев. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. – С. 160-185.
8. Травма: пункты: Сборник статей / сост. С. Ушакин. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 903 с.
9. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2. – Режим доступа: <http://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html> (дата обращения 12.04.2020).
10. Хирш М. Что такое постпамять // Уроки истории. – 17 июня 2016. – Режим доступа: <https://urokiistorii.ru/article/53287> (дата обращения 12.04.2020).
11. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / пер. с польск. С. М. Червонной. – М.: Логос, 2005. – 664 с.